

Игорь П. Смирнов

## АНТИУТОПИЯ И ТЕОДИЦЕЯ В "ДОКТОРЕ ЖИВАГО"

Александру Моисеевичу Пятигорскому  
к шестидесятипятилетию

### 1. Бирючи, Зыбушкино, Мелюзеево (от природный и еретический у-топосы)

1.0.1. Философский роман отличается от прочих типов романа тем, что он показывает нам, как индивид приносит себя в жертву тому принципу, который определяет для него сущее. Философский роман персонифицирует идеи, но отнюдь не довольствуется этим, как может показаться при поверхностной концептуализации жанра, и, сверх того, придает идеи надындивидуальный, независимый от ее носителя, т.е. всеобщий, характер, уступает ей того, кто ее воплощает.

Так, Обломов деградирует как личность ради сохранения бесцельной, неутилизируемой, не превращающейся всего-лишь в одну из множественных практик бытийности<sup>1</sup>. Точно так же Лопухов из "Что делать?" добровольно отрекается от совместной жизни с Верой Павловной, поскольку в деле освобождения женщины (= генерирующего, софийного начала<sup>2</sup>) он готов быть последовательным до конца, эмансипируя ее даже от самого себя. Алеше Карамазову, бежавшему от греха подальше в монастырь, приходится все же покинуть, по совету Зосимы, обитель, жертвенно пренебречь персональной праведностью, чтобы превратить спасение из частной в общую проблему, чтобы участвовать в преобразовании общества "как союза почти еще языческого во единую вселенскую и властыющую церковь"<sup>3</sup>.

Если собственно философский дискурс заботится о том, чтобы сделать истинность некоторого универсально приложимого принципа доказательной, то философский роман - в своей эстетической специфики, в своей литературной ревности к философии, в своем стремлении самоутвердиться - убеждает читателей в опасности больших идей для конкретной личности (как бы он эти идеи ни оценивал - положительно, отрицательно или амбивалентно). Литература исподтишка наушничает на философию, изображая ее рискованным предприятием.<sup>4</sup> У дискур-

сивности во всем ее охвате (не только у философии, но и у историографии, науки и пр.) есть ее Другое - литература. Мысль А.Йоллеса об антижанрах нужно перебросить на жанровость<sup>5</sup>.

Философский роман не вырабатывает какую-то новую, до него не существовавшую, философию. Он паразитирует на уже известной философской истине, ничего не прибавляя к ней по существу, ибо в том, что касается философии, он лишь негативен и значит: вторичен.

**1.0.2.** В "Докторе Живаго" Пастернак следует общему правилу философского романа. Философствующая личность, герой пастернаковского романа, умирает раньше отведенного ей для жизни времени.

Три философских романа XIX в. были названы выше не случайно. Пастернак опирался на них. Юрий Живаго проводит свои последние годы сходно с Обломовым - в неравном браке и запущенности (и рожает двух детей так же, как Обломов и Пшеницына; Евграфу, который снимает своему брату незадолго до его смерти отдельную от семьи комнату, удается то, что не удалось Штольцу в романе Гончарова)<sup>6</sup>. Доктор Живаго замещает добровольно отказавшегося от семейной жизни Антипова, совершая то же действие, что и доктор Кирсанов, заступивший место Лопухова (впрочем, в отличие от последнего Антипов-Стрельников убивает себя вовсе не мимо)<sup>7</sup>. Вслед за Алешей Карамазовым Юрий Живаго покидает путь первоначально выбранного им индивидуального спасения в аскетизме, о котором наставник Юрия, Веденяпин (второй Зосима), говорит:

Отрочество должно пройти через все неистовства чистоты<sup>8</sup>.

Пастернаковский роман похож на постмодернистский имитационный текст, не являясь им (примерно также Ж. Деррида в свое время, в 60-е гг, определил в книге "О грамматологии" роль Хайдеггера как уже не и все же еще метафизика и логоцентриста). "Доктор Живаго" вбирает в себя сюжетные ходы предшествующих ему философских романов, чтобы стать репрезентативным текстом, подражанием, выявляющим смысл парадигмы (философского романа). Постмодернистский же роман (допустим, "Пушкинский Дом" А. Битова) повествует о конце парадигмы, к которой он принадлежит. О симулякре как печальной необходимости (русская культура, считает Битов, не имеет продолжения, она закончилась и потому пишущий в и н у ж д е н всего-лишь имитировать ее).

**1.0.3.** Нам предстоит ответить на вопрос о том, какова по происхождению философская идея, персонифицированная Юрием Живаго, и что

опричинивает его преждевременную кончину. 'Жизни в истории' противостоит, согласно Пастернаку, утопизм. Главная философская оппозиция пастернаковского романа может быть определена следующим образом: является ли данный нам мир достаточным и необходимым для бытия в нем субъекта или же он требует коренной переделки, которая довела бы его до идеального состояния? Пастернак выступает против утопического экспериментаторства и в то же время показывает его сорблазнительность<sup>9</sup>. Критика утопизма приняла в "Докторе Живаго" вселенский масштаб. Пастернак полемизировал не с какой-то отдельной утопией, но с утопическим мышлением, взятым в широком объеме (перед нами не просто антиутопия, так хорошо известная из практики романа XX в., но метаантиутопия). Многоохватный, философско-исторический подход Пастернака к утопии соответствовал его желанию написать роман, существующий дать "всю вселенную"<sup>10</sup>, как он заявлял уже в начале работы над "Доктором Живаго", создать текст в "размере мира-вом"<sup>11</sup>, как он сообщал Вяч.Вс.Иванову в июле 1958 г.

1.1.0. Мотивы мировых утопий включаются в пастернаковский роман в главах, где заходит речь о Февральской революции. Места, где она разыгрывается в романе, - Бирючи, Зыбушкино и Мелюзееvo. Первые два - утопические локусы, своего рода острова, оторванные от остального мира. Бирючи расположены посреди болот, тогда как Зыбушкино прячется в лесах. К каждому из этих локусов приурочивается особый тип утопизма: к Бирючам - идея слияния человека с природным миром, к Зыбушкино - еретический хилиазм. Пастернак опространствовал разные (развертывавшиеся во времени) парадигмы утопического дискурса. Возможно, что вымышленность использованных в главах "Доктора Живаго", повествующих о Февральской революции, топонимов была призвана подчеркнуть их безместности в эмпирическом, не утопическом пространстве (то же справедливо для уральско-сибирских топонимов в романе, также отсылающих читателя к у-топосам, о чем ниже).

1.1.1. Виновником убийства комиссара Гинца, случившегося в Бирючах, Пастернак сделал телеграфиста Колю Фроленко, который попытался задержать поезд с казаками, вызванными для усмирения бунтовщиков. Когда поезд все же пришел на станцию,

...Коля высунул машинисту язык и погрозил ему кулаком (151).

О Коле сообщается, что он был способен вести сразу две беседы:

Отвечая мадемуазель, Коля по обыкновению вел какой-то другой телефонный разговор, и судя по десятичным дробям, пестрившим его речь, передавал в третье место по телеграфу что-то шифрованное [обратим внимание на мотив шифра, сигнализирующий читателю о некоторой таинственности этого отрывка романа, - И.С.] (154).

Первая из известных нам аграрная утопия, "Солнечный остров" Ямбула (3 в. н.э.), дошедшая в пересказе Диодора, рисует счастливых гелиоситов, наслаждающихся у себя на экваториальном острове плодами щедрой природы, людьми с раздвоенными языками, могущими разговаривать сразу с двумя партнерами по диалогу<sup>12</sup>.

1.1.2. Сопоставление Коли Фроленко с жителями "Солнечного острова" может показаться неоправданной натяжкой. Однако для обоснования этого сравнения у нас есть дальнейшие аргументы, делающие его вполне допустимым. Коля представляет собой, помимо прочего, пастернаковскую пародию на Руссо и его теорию воспитания. Мы вправе предположить, таким образом, что совпадение Колиного полилогического дарования с отличительным признаком героев Ямбула не случайно, что Пастернак объединил в своем персонаже начало и наиболее известный пункт в продолжении философской надежды на достижение благодати в отприродном существовании.

Коля был сыном известного мелюзеевского часовщика (150), -

пишет Пастернак и сближает тем самым происхождение виновника анархического насилия (над Гинцем) с семейными обстоятельствами того, кто нес философскую ответственность за Великую французскую революцию<sup>13</sup>. Воспитательница Коли, мадемуазель Флери, - швейцарка. Коля ворит Руссо как его искусственное подобие. Руссо советовал в своем романе "Эмиль, или О воспитании" одевать детей легко, какая бы погода ни стояла на дворе. Коля держится этого же правила, принадлежа природе:

В Мелюзево привыкли видеть Колю в любую погоду налегке, без шапки, в летних парусиновых туфлях... (150).

Наставление Руссо, касающееся того, что не нужно исправлять языковые ошибки ребенка, становится предметом тайной насмешки Пастернака, вменяющего Коле дурное владение французским, которому его пытались выучить его наставница.

1.2.1. Вот как рассказывает Пастернак о Зыбушине:

Республика не признавала власти Временного правительства и отделилась от остальной России. Сектант Блажейко, в юности переписывавшийся с Толстым, объявил новое тысячелетнее зыбушинское царство, общность труда и имущества и переименовал волостное правление в апостолат (132-133)<sup>14</sup>.

Социальный эксперимент, произведенный в Зыбушине, напоминает историю еретических смут на юге Франции и в Италии в XI- начале XIV вв. Учреждение 'апостолата' перекликается с попыткой катаров вернуться к первохристианству, к жизни апостолов (*via apostolica*). Катары обобществляли имущество (что делает и Блажейко), избегали брака и отказывались от мясной пищи (упоминая при описании Зыбушинской республики Толстого, Пастернак возводит его мизогенность и вегетарианство к апостолической ереси)<sup>15</sup>.

Идеологом Зыбушинской республики был глухонемой Клинцов-Погоревших. Коверкая русский язык, мадемуазель Флери называет его 'глюконемой' (135) и тем самым привносит в его наименование сему 'сладкое' (ср. греч. 'glykys'), которая содержится и в имени последнего предводителя апостольских братьев в Италии, Фра Дольчино (начало XIV в.)<sup>16</sup>.

Крестовый поход, объявленный папой Иннокентием III против катаров, нашел свое отражение у Пастернака в как будто излишнем в плане сюжетосложения эпизоде изгнания ворвавшихся в Мелюзееvo зыбушинцев 'броневым дивизионом' (ср. закованых в броню рыцарей).

Выступление Устины ("Она была родом зыбушинская", 134) на митинге в Мелюзееvo вкрапливает в роман еще один мотив из истории катаров:

Вот вы говорите, Зыбушине, товарищ комиссар, и потом насчет глаз, глаза, говорите, надо иметь и не попадаться в обман [...] А глухонемым и без вас нам глаза кололи, надоело слушать (142).

Кто, собственно, и в каком прошлом 'колол глаза' зыбушинцам? Нарочитая неясность этого высказывания Устины заставляет предположить здесь пастернаковскую тайнопись, которая расшифровывается в контексте, связывающем зыбушинцев с катарами. После взятия одной из крепостей, где засели еретики, граф Симон де Монфор приказал выколоть глаза захваченным в плен.

Пленным катарам были нанесены и другие увечья (отрублены носы и т.п.). В стихотворном эпосе Н.Лелая "Альбигойцы" (повествующем о

подавлении еретического движения, речь идет, как и в романе Пастернака, только об ослеплении. Что "Альбигойцы" были одним из источников, которыми пользовался Пастернак, сопоставляя зыбушинцев и катаров, свидетельствует мотив липы, имеющий в "Докторе Живаго" ту же функцию, что и в поэме Ленау. Липа стучится во время бури в окно дома, где живет Юрий, думающий, что вернулась Лара:

В буфетной выбито окно обломком липового сука, бившегося о стекло, и на полу огромные лужи, и то же самое в комнате, оставшейся от Лары... (149).

У Ленау липа, растущая около колодца (ср. мотив воды в "Докторе Живаго") хранит в себе (тотемистическую) память об исчезнувшей (забитой камнями) женщине:

Am Brunnen steht sie noch, die Linde,  
Die Zeugin einst so schöner Zeiten,  
Sie lässt, bewegt vom Herbsteswinde,  
Die Blätter leis hinuntergleiten [...]]  
Ach, wo versenkt mit allen Wonen,  
Giralda ruht, bedeckt von Steinen<sup>17</sup>.

1.2.2. Как и при изображении Бирючей, Пастернак не ограничивается, рассказывая о зыбушинцах, отсылкой только к одной утопии. Он намекает на продолжение еретического утопизма катаров у Сен-Симона. Речь Устины, защищающей на митинге Зыбушинский апостолат, поддержанный дезертирами, является собой сжатое изложение доктрины Сен-Симона:

...а между прочим, сами, я вас послушала, только знаете большевиками-меньшевиками шпыняться, большевики и меньшевики, ничего другого от вас не услышишь. А чтобы больше не воевать и всё как между братьями, это называется по-божески, а не меньшевики, и чтобы фабрики и заводы бедным, это опять не большевики, а человеческая жалость (142).

Устинья неспроста отрекается от партийности (меньшевистской и большевистской) - ее пацифизм ведет свое происхождение не из ближайших политических доктрин, но из далекого источника, предсмертной брошюры Сен-Симона "Новое христианство" ("В этом сочинении католическая и протестантская церкви критиковались за их отход от первоначального апостольского христианства. Сен-Симон призывал людей к всеобщему 'братьству' (ср. идеал Устины: "...всё как между братьями...")"),

к филантропизму (сострадание бедным входит и в программу зыбущинской социалистки) и к установлению 'вечного мира' на основе христианской морали (ср.: "А чтобы больше не воевать [...], это называется побожески...").

1.2.3. Мелюзееvo нейтрализует контраст между природным утопизмом и еретическими чаяниями, вбирает в себя и то, и другое. Апостольское христианство (катаров и Сен-Симона) становится здесь (в изображении поддавшегося на утопический соблазн Юрия Живаго) явлением природного мира:

Вчера я ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище. Сдвинулась Русь-матушка, не стоится ей на месте, ходит не находится, говорит не наговорится. И не то чтоб говорили одни только люди. Сошлись и собеседуют звезды и деревья, философствуюточные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните, у Павла? "Говорите языками и пророчествуйте. Молитесь о даре истолкования" (145).

## 2. Юрятин и Варыкино (государственные утопии)

2.1. Урал выступает в пастернаковском романе как место, к которому привязываются скрытые отсылки к разного рода проектам идеального государства.

Юрятин вызывает в читательской памяти утопический урбанизм Кампанеллы. "Город Солнца" был, впрочем, использован Пастернаком уже при описании Мелюзееvo. Утопия Кампанеллы, объединившая в себе апостолическую ересь (жители Города Солнца берут себе в пример апостолов) и веру в возможность создания совершенного государства, служит Пастернаку перекидным мостиком, который пролагает смысловой путь, ведущий от глав о Западном фронте к уральско-сибирской части романа. Граждане Солнечного города собираются на Большой совет в полнолуние. Точно так же, в полнолуние, сходятся на митинг мелюзеевцы:

За вороными гнездами графининого сада показалась чудо-вищных размеров исчерна-багровая луна [...]

Луна стояла уже высоко на небе. Все было залито ее густым, как пролитые белила, светом [...]

Митинг происходил на противоположной стороне площади. При желании, вслушавшись, можно было различить через плац все, что там говорилось (140-141)<sup>18</sup>.

Юрятин и его пригород Развилье сходны с Солнечным городом Кампанеллы архитектурно:

В Москве Юрий Андреевич забыл, как много в городе попадалось вывесок и какую большую часть фасада они закрывали. Здешние вывески ему об этом напомнили. Половину надписей по величине букв можно было прочесть с поезда. Они так низко налезали на кривые оконца покосившихся однотажных строений, что приземистые домишкы под ними исчезали, как головы крестьянских ребятишек в низко надвинутых отцовских картузах.

К этому времени туман совершенно рассеялся. Следы его оставались только в левой стороне неба, вдали на востоке. Но вот и они шевельнулись, двинулись и разошлись, как полы театрального занавеса.

Там верстах в трех от Развилья, на горе, более высокой, чем предместье, выступил большой город, окружной или губернский. Солнце [ср.: "Civitas Solis" И.С.] придавало его краскам желтоватость, расстояние упрощало его линии. Он ярусами лепился на возвышенностях, как гора Афон или скит пустынножителей на дешевой лубочной картинке, дом на доме и улица над улицей, с большим собором посредине на макушке (246-247).

Необычные вывески в Развилье составляют параллель к наглядной пропаганде знаний у Кампанеллы, разместившего на семи стенах своего города изложение всей человеческой премудрости, с которой его жители могли знакомиться уже с детства (ср. мотив 'крестьянских детей' в "Докторе Живаго"). Как и Юрятин, Город Солнца расположен на высокой горе, чрезвычайно велик по размерам, построен ярусами и увенчен храмом, где находятся кельи монахов (ср. сходство Юрятина с Афоном) и где хранится написанная золотыми буквами Книга (ср. замечание Самдевягова о пожаре в Юрятине, не затронувшем центральные районы: "- Я говорю, - центр, центр города. Собор, библиотека", 256)<sup>19</sup>.

2.2.1. Варыкино смешивает две английские государственные утопии - Мора и Френсиса Бэкона. Самдевягов прямо указывает на то, что приезд семейства Громеко в Варыкино имеет утопический характер:

- Извечная тяга человека к земле. Мечта пропитаться своими руками [...]  
Мечта наивная идиллическая. Но отчего же? Помоги вам Бог.  
Но не верю. Утопично. Кустарница (259).

Живаго разбивает огород на 'задах господского дома':

- Там бы я стал рыть и грядки. По-моему, там остатки цветника. Так мне показалось издали. Может быть, я ошибаюсь [мотив заблуждения бывает, как правило, сигналом интертекстуальности, - И.С.]. Дорожки надо будет обходить, пропускать, а земля старых клумб наверное основательно унаваживалась и богата перегноем (272).

В "Утопии" Мора каждый дом выходит тыльной стороной в сад, где жители счастливого острова выращивают фрукты, травы и цветы, соревнуясь друг с другом. Само обращение людей интеллигентских профессий к сельскохозяйственному труду, рисуемое в "Докторе Живаго", отвечает представлению Мора о том, что в правильно устроенном социуме отчуждение города от деревни будет преодолено за счет регулярных выездов горожан на уборку урожая<sup>20</sup> (к чему они должны приучаться уже с детских лет). Земля на утопическом острове Мора бедна, но тем не менее приносит богатые плоды благодаря применению 'искусственных средств' (ср. 'основательно унавоженную' почву у Пастернака и подробный регистр снятого семейством Громеко-Живаго обильного урожая: "Картошку успели выкопать до дождей [...] ее у нас до двадцати мешков [...] в подполье спустили две бочки огурцов..." (277) и т.д.).

Островитяне Мора работают не более шести часов в день, заполняя оставшееся время литературными и научными упражнениями. Рабочий день Юрия Живаго также укладывается в шесть часов, о чем свидетельствует сделанная им в варыкинском дневнике запись:

"Сколько мыслей проходит через сознание, сколько нового передумаешь, пока руки заняты мускульной, телесной, черной или плотничей работой; пока ставишь себе разумные, физически разрешаемые задачи, вознаграждающие за исполнение радостью и удачей; пока шесть часов кряду тешешь что-нибудь топором или копаешь землю под открытым небом..."<sup>21</sup> (275).

Другая дневниковая запись Юрия подхватывает из "Утопии" мотив досуга, посвященного искусствам и расширению положительных знаний, причем этим занятиям придается в дневнике качество желательных, будущностных, одним словом, чаемых как идеал:

"Как хотелось бы наряду со службой, сельским трудом или врачебной практикой вынашивать что-нибудь остающееся, капитальное, писать какую-нибудь научную работу или что-нибудь художественное" (282).

Один из законов, придуманных Мором для регулирования совершенной жизни, предусматривает, что за нарушение супружеской верности преступник штрафуется принудительными работами, попадая в положение раба, а за повторную измену подлежит смертной казни. Юрий Живаго изменяет на Урале своей жене с Ларой и наказывается за это рабским служением партизанам (его захватывают в плен как раз тогда, когда он возвращается со свидания с возлюбленной домой). Арестовавший Юрия Каменноворский обещает расстрелять пленника, если тот откажется выполнить его требование:

- Ни с места, товарищ доктор,- ровно и спокойно сказал старший между троими [...] - В случае повиновения гарантируем вам полную невредимость. В противном случае, не прогневайтесь, пристрелим (303)<sup>22</sup>.

Сопоставляя "Утопию" и "Доктора Живаго", остается, наконец, отметить, что рассказчик, повествующий у Мора об идеальном государственном порядке, - моряк, путешествовавший вместе с Америго Веспуччи, и что Микулицыну-старшему, хождячиemu в Варыкино, больше подошла бы, согласно мнению Самдевятова, не сухопутная, а флотская карьера:

- Его поприщем должно было быть море. В институте он шел по корабельной части. Это осталось во внешности, в привычках (261).

2.2.2. Тоня принимает возницу, который доставляет ее вместе с ее близкими в Варыкино, за легендарного кузнеца Вакха из рассказов ее матери об Урале:

- Возможно ли, чтобы это был тот самый Вакх [...] Кузнец, кишки в драке отбили, он смастерил себе новые. Одним словом, кузнец Вакх Железное Брюхо. Я понимаю, что все это сказка. Но неужели это сказка о нем? Неужели это тот самый? (266).

Жители Новой Атлантиды Бэкона, охваченные страстью к неуемному научному познанию и техническому прогрессу, умеют создавать искусственные органы вместо потерянных людьми естественных. Вакх - не только сказочная фигура, но и репрезентант утопического мира<sup>23</sup>.

Новой Атлантидой правит совет мудрецов, страну возглавляет Дом Соломона. Пародийный эквивалент этого государственного учреждения - дом Микулицыных в Варыкино. Жена Микулицына, Елена Прокловна,

хвастается своими обширными познаниями, задавая Юрию самые неожиданные и мало уместные испытательные вопросы; особенно восхищают варыкинского гостя ее осведомленность в области физики (ср. физикализм Бэкона)<sup>24</sup>.

Одна из особенно важных институций Новой Атлантиды - музей, экспонирующий разные виды обманов, симулякров, фокусов, иллюзий, - всего, что полностью неприемлемо для тех, кому Бэкон предназначил поиск научной истины. В варыкинском доме Юрий Живаго находит стереоскопические снимки Урала, которые смастерил сын Микулицына, Ливерий, с помощью самодельного объектива, т.е. двухмерные имитации трехмерного пространства, вводящие их наблюдателя в заблуждение.

Прибыв в Юратин Комаровский восхваляет там будущее Сибири:

- Сибирь, эта поистине Новая Америка, как ее называют, таит в себе богатейшие возможности. Это колыбель великого русского будущего, залог нашей демократизации, процветания, политического оздоровления (417).

Конечно, эта тирада имеет в виду, в первую очередь, стихи Блока о Сибири: "Уголь стонет, и соль заболелась, И железная воет руда... То над степью пустой загорелась Мне Америки новой звезда!"<sup>25</sup> Но равным образом она отправляет нас и к утопии Бэкона как к претексту Блока. Старая Атлантида, по Бэкону, это - Америка, стертая с лица земли потопом, чьей изначальной цивилизации наследует вторая Америка, Новая Атлантида.

2.3. Мы вернемся к Бэкону чуть позднее, а пока подытожим сказанное о Юратине и Варыкино.

Юрий Живаго двойственен. По дороге в Варыкино он обрушивается в споре с Самдевятым на марксизм, порицая эту философию как утопическую:

Я не знаю течения, более обособившегося в себе и далекого от фактов, чем марксизм (257).

С другой стороны, Живаго не исключается Пастернаком из общего утопизма эпохи не только в главах о Февральской революции, но и тогда, когда речь в романе заходит о большевистском периоде. Пастернаковский герой, бегущий из революционной Москвы на Урал, не может, на деле, занять позицию вне утопического мира - его тяга к земле заимствована у Мора, выбранные им места новой жизни воссоздают утопические модели Кампанеллы и Бэкона.

Пастернак всячески компрометирует утопизм. Если на Западном фронте его следствием было убийство ни в чем не повинного Гинца, то пребывание Живаго на Урале и в Зауралье завершается деградацией героя. Бывший громековский дворник, Маркел, пеняет Юрию, объявившемуся вновь в Москве, за то, что он не был верен своему месту, предпочел насиженной жизни поиск другого пространства обитания (т.е., в конечном счете, критикует своего будущего зятя за выбор им ложного топоса, за утопизм):

А нешто я тебе повинен, что ты не выдался. Не надо было в Сибирь дратъ, дом в опасный час бросать. Сами виноваты. Вот мы всю эту голодуху, всю эту блокату белую высидели, не пощатнулись, и целы (471).

Полемизируя с утопиями Мора и Бэкона, Пастернак вплетает в описание Варыкино реминисценцию из антиутопии О. Хаксли "Сын Тони и Юрия, Шурочка, капризничает, попав в Варыкино:

Шурочка [...] был не в своей тарелке [...] Он был недоволен, что в дом не взяли черного жеребеночка, а когда на него прикрикнули, чтобы он уgomонился, он разревелся, опасаясь, как бы его, как плохого и неподходящего мальчика, не отправили назад в детинный магазин, откуда, по его представлениям, его при появлении на свет доставили на дом родителям (271).

Английский утопический этатизм прослеживается Пастернаком вплоть до его превращения в собственную противоположность у Хаксли (очень модного в СССР в 30-е гг). Словосочетание "детинный магазин" калькирует название учреждения, где в романе Хаксли искусственно создаются люди утопического будущего: <sup>26</sup>".

2.4. Пастернак уделяет Бэкону в своем романе особое внимание<sup>27</sup>. В "Докторе Живаго" учитывается, наряду с "Новой Атлантидой", и "Новый Органон". Выстраивая сцену смерти Юрия, Пастернак исходит из известной притчи о ложном и истинном методах познания, изложенной в "Новом Органоне". Даже калека, если он выбрал правильную дорогу, - писал Бэкон, - обгонит скорохода (= "cursor"), который движется непутем (= "extra viam")<sup>28</sup>. Дряхлая мадемуазель Флер, направляющаяся в швейцарское посольство за визой для эмиграции на Запад, опережает на своих двоих (она, по выражению Пастернака, 'плетется', 483) Юрия, севшего в аварийный трамвай:

И она пошла вперед, в десятый раз обогнав трамвай и, ничуть того не ведая, обогнала Живаго и пережила его (485)<sup>29</sup>.

Бэкон вставляет свою параболу в рассуждения об Идоле театра, т.е. теории, философских догматов, принимаемых на веру. Живаго не избавлен, хочет сказать нам Пастернак, от поклонения этому Идолу и проигрывает из-за того жизненное соревнование с девственным, неиск Shенным существом, которым мог бы быть и он сам, останься он верен своей первоначальной непорочности, тому 'неистовству чистоты', о котором думал Веденяпин. Пародируя "Новую Атлантиду", Пастернак, с другой стороны, принимает проведенную Бэком критику сознания, противопоставляет Бэкона-утописта Бэкону-гносеологу.

### 3. "Политея" и зауральская партизанщина (государственные утопии, продолжение)

3.1.1. Изображение партизан в "Докторе Живаго", по меньшей мере, трехслойно в интертекстуальном плане. Первый пласт здесь образуют заимствования (от части уже исследованные) из документальных свидетельств и научной литературы о Гражданской войне на Урале и в Сибири<sup>30</sup>.

3.1.2.1. Вторым слоем являются многочисленные реминисценции из художественных текстов о сибирской и дальневосточной партизанщине.

Завязка партизанской карьеры Терентия Галузина перекочевала в пастернаковский роман из повести Вс. Иванова "Партизаны" (1920-1921). Иванов рассказывает о том, как плотник Кубдя подряжается строить амбары в Улалейском монастыре. Во время церковного праздника в деревню прибывают два милиционера, которые разрушают самогонный аппарат. Чтобы попугать блюстителей порядка, пьяный Кубдя стреляет в их сторону, не желая причинить им вред, но случайно убивает одного из них. После этого события плотнику приходится скрываться и волей-неволей примкнуть к партизанскому движению.

По образцу Кубди Терентий становится партизаном вовсе не из-за политических убеждений. На пасху в Кутейном Посаде и Малом Ермолае ведется набор рекрутов в Колчаковскую армию. Пьют самогон. Неизвестный, воспользовавшись скандалом на призывном пункте, бросает гранату в волостное правление. Милиционеры безуспешно разыскивают провокатора (эта невыясненность обстоятельств вызывает к интертекстуальной догадливости читателей). Молодые люди, подлежащие набору, и среди них - Терентий, прячутся, не зная за собой вины, а затем бегут к партизанам<sup>31</sup>.

Дальнейшая судьба Терентия контрафактурна относительно биографии заглавного героя из историко-революционной поэмы Асеева "Семен Проскаков" (1927-28). За участие в заговоре против Ливерия Микулицина Терентий подлежит расстрелу, но, будучи лишь раненым, выползает из-под трупов, скитаются по тайге и в конце-концов выдает советским властям повстречавшегося ему Стрельникова. Проскакова, на-против, недорассстреляли белые; впрочем, он и Терентий - равно заговорщики, хотя, как таковые, и принадлежат к разным политическим полюсам, - ср. один из эпиграфов в поэме Асеева, цитирующий документы Архива Истпрофа ЦК Союза горнорабочих:

Вот я, Проскаков Семен Ильинич, и должен был описать как пережитое при Колчаке в 1919 году дня 8 марта за мартовское восстание; мне пришлось бежать, я скрывался, и в одно время я был предан двумя в дер. Моховой [...] Я почувствовал, что он, гад, меня легко ранил, я притаился, он, гад, прошел, бросив меня, понаблюдав, опять идет ко мне, наган в голову и дал три обсечки, в четвертый раз выстрелил наган в мою голову, не попал, а мою голову заменила сырья земля и приняла в себя кровожадную пулью и спасла меня. После отъезда гада я бежал, и после расстрела я попал в отряд тов. Роликова и действовал со своими ранами в отряде...<sup>32</sup>

Дезертируя из "лесного воинства", Живаго поступает так же, как индивидуалист Мечик в романе Фадеева "Разгром" (1926), но не из-за страха за свою жизнь, в прямом отличие от своего негативного литературного прообраза, а из озабоченности судьбой близких. Живаго совершает несколько попыток избавиться от плена - возврашаемость действия вы свечивает его вторичность в качестве литературного мотива. В "Разгроме" и в "Докторе Живаго" силы красных теснят противник, им приходится отступать, причем в обоих романах совпадают конкретные обстоятельства отхода: чтобы спастись, и фадеевским, и пастернаковским партизанам, нужно мостить болото.

3.1.2.2. Название повести Вяч. Шишкова об алтайских партизанах, "Батага" (1923), всплывает в диалоге пьянивших по поводу пасхи и призыва новобранцев Гошки Рябых и Терентия Галузина:

- Ты мне, Гошка только вот что скажи. Еще я про социализм не все слова знаю. К примеру, саботажник. Какое это выражение? К чему бы оно?

- Я хоша по этим словам профессор, ну как я тебе, Терешка, сказал, отстань, я пьян. Саботажник - это кто с другим в

одной шайке. Раз сказано советажаник, стало быть, ты с ним из одной ватаги (320).

Выбивающаяся из обычной стилистики Пастернака народная этимология в духе Лескова и его последователей имеет в "Докторе Живаго" не столько традиционную присущую ей функцию (= производство комического эффекта), сколько используется по интертекстуальному назначению: слово с не его собственным смыслом есть слово из чужого текста.

"Ватага" рисует Гражданскую войну в виде новой пугачевшины<sup>33</sup>. В соответствии с этой установкой текст Шишкова во многом составлен из мотивов, взятых из пушкинской "Истории Пугачева". Так, Пушкин повествует о том, как Пугачев влюбился после взятия Татищевой крепости и учиненных там зверств в дочь одного из начальников ее обороны:

Начальники были захвачены. Билову отсекли голову. С Елагина, человека тучного, содрали кожу; злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны. Жену его изрубили. Дочь их, накануне овдовевшая Харкова, приведена была к победителю, распоряжавшегося казнию ее родителей. Пугачев поражен был ее красотою и взял несчастную к себе в наложницы, пощадив для нее семилетнего ее брата<sup>34</sup>.

У Шишкова партизанский вожак Зыков, захватив город и расправившись со священниками и купцами (их сжигают в церкви после немыслимых пыток), влюбляется в купеческую дочь, Таню (у нее есть брат, как и у Харовой, который впоследствии убивает Зыкова).

Пастернак усвоил себе метод построения "Ватаги".

В одних случаях он повторяет сразу и повесть Шишкова и "Историю Пугачева". Ворвавшись в Казань, сторонники Пугачева бесчинствуют в карнавальных нарядах:

Разбойники, надев на себя женские платья, поповские стихари, с криком бегали по улицам, грабя и зажигая дома (63).

В "Ватаге" партизаны перед тем, как сжечь своих пленников, переодевают их женщинами, а сами облачаются в ризы священников и служат кощунственный молебен. Пастернак сдвигает мотив кощунственного революционного карнавала на периферию своего романа, привязывает этот мотив к эпизодической, случайно мелькающей при аресте Юрия, фигуре:

Поперек дороги, препрятствия ее, стояли три вооруженных всадника. Реалист в форменной фуражке и поддевке, перекрещенный пулеметными лентами, кавалерист в офицерской

шинели и кубанке и странный [= сигнальное слово интертекстуальности, - И.С.], как маскарадный ряженый, толстяк в стеганных штанах, ватнике и низко надвинутой поповской шляпе с широкими полями (303).

В других случаях Пастернак оставляет "Батагу" в стороне и прямо черпает смысловой материал из "Истории Пугачева". Приведем только один пример такой расширенной, по сравнению с повестью Шишкова, работы Пастернака с первоисточником. Заговор Захара Гораздых против Ливерия конструируется Пастернаком из тех же элементов, что и интрига Шигаева против Пугачева, изображенная Пушкиным (у Шишкова аналогичный эпизод не отыскивается):

Бунтовщики начали выбираться из Берды, кто верхом, кто на санях. На воза громоздили заграбленное имущество. Женщины и дети шли пешие. Пугачев велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, опасаясь пьянства и смятения. Вино хлынуло на улицу. Между тем Шигаев, видя, что все пропало, думал заслужить себе прощение, и задержав Пугачева и Хлопушу, послал от себя оренбургскому губернатору с предложением о выдаче ему самозванца, и прося дать ему сигнал двумя пушечными выстрелами. Сотник Логинов, сопровождавший бегство Пугачева, явился к Рейнсдорпу с сим известием (48).

В "Докторе Живаго", в согласии с "Историей Пугачева", отступление партизан вместе с семьями и борьба их начальника, Ливерия, с пьянством предшествуют началу брожения среди них. Оба заговора безуспешны. Держа речь о выдаче Ливерия белым, Захар Гораздых совершает ошибку, присваивая их генералу Галиуллину чин сотника, - интертекстуальную по происхождению (ср. сотника Логинова у Пушкина):

- Надо исделать штуку, чего свет не видал, из ряда вон. Они требуют его [Ливерия, - И.С.] живого, в веревках. Теперь слышишь, к энтим лесам подходит ихний сотник Гулевой. (Ему подсказали, как правильно, он не рассыпал и поправился: "генерал Галеев") (343).

3.2.1. Несмотря на всю близость описания партизан в "Докторе Живаго" к литературе 1920-х гг, их концептуализация у Пастернака решительно отличается от уже имевшей место в советской прозе и поэзии своей далеко заходящей философичностью. Третий интертекстуальный слой глав, посвященных пленению Юрия Живаго, представляет собой собрание намеков на "Государство" Платона<sup>35</sup>.

Пережитое Юрием в партизанском лагере обладает для него свойством абсолютной (= утопической) новизны: "Лес, Сибирь, партизаны [...] что за небывальщина" (363). И "лесным воинством", и платоновским государством "стражей" правит философия. Партизанский диктатор - любитель мудрости; Юрий сообщает Каменноворскому:

- Ливерий Аверкиевич любит по ночам философствовать, заговорил меня (341).

По Платону "стражи" должны получать философское образование (кн. 6, 15 и кн. 7, 8). Солдатам Ливерия также надлежит быть просвещенными. Живаго говорит ему:

- Я преклоняюсь перед вашей воспитательной работой [...] Ваши мысли о духовном развитии солдат мне известны. Я от них в восхищении (333).

Живаго и разделяет 'мечту о достойном существовании' (334), которая открывает педагогические усилия Ливерия, и отвергает его просветительство, обнаруживая здесь то же противоречивое отношение к утопизму, что и в главах о Варыкино:

- Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя, может быть, и видавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Для них существование - это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом, жизнь никогда не бывает. Она сама [...] непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало... (334).

Слова о 'веществе' polemически цитируют "Государство", где философу, планирующему идеальное общественное устройство, предписывается преодолевать 'данный в человеке материал' (кн. 6, 13)<sup>36</sup>. Живаго побивает Платона, апеллируя к представлению Вл. Соловьева из "Чтений о Богочеловечестве" о саморазвивающейся 'Душе мира', Софии<sup>37</sup>.

3.2.2. Миф, предназначенный Платоном для воспитания "стражей" философского государства, гласит, что они рождаются из земли (и потому должны защищать Мать-землю) и что Творец примешал одним из них (властителям) золото, а другим (помощникам) - серебро (кн. 3, 21-22).

След этого дидактического мифа содержит в себе у Пастернака картина отступления "крестьянского ополчения", как бы растущего из земли, преобразованной в антиутопическом "Докторе Живаго" в 'грязь' (ср. также появление среди партизан Терентия Галузина и его товарищей, до того прятавшихся от милиционеров под амбаром):

Дома по обеим сторонам дороги словно вбирались и уходили в землю, а месящие грязь всадники, лошади, пушки и толпящиеся рослые стрелки в скатах, казалось, вырастали на дороге выше домов (325).

Заводила заговора против Ливерия иронически называет партизанского начальника 'золотцем' (343), а высший слой партизан, который несет охрану командира, именуется в романе 'серебряной ротой' (343; это словосочетание втайне пейоративно - ср. эвфемизм "золотая рота", обозначающий уборщиков нечистот).

Трагически-сентиментальный на поверхности, роман Пастернака зачастую комичен в своей интertextуальной толще. В число насмешек Пастернака над Платоном, о которых зашла речь, входит и характеристика внешнего вида партизан. Если у Платона "стражи" в их рвении охранять философское государство подобны псам (кн. 3, 13), то в "Докторе Живаго" эта сопоставимость переводится из абстрактно-возвышенного в конкретно-сниженный план - партизаны физически напоминают собак, почти превращаются в них:

Не хватало зимней одежды. Часть партизан ходила полуодетая. Передавили всех собак в лагере. Сведущие в скорняжном деле шили партизанам туалугы из собачьих пискур шерстью наружу (352).

**3.2.3.** В противоположность "Государству" роман Пастернака не рисует совместного владения женами и детьми среди партизан, новых "стражей". Но все же и в этом пункте "Доктор Живаго" пересекается с "Государством". Принадлежность к "лесному братству" влечет за собой уничтожение семьи - безумное, чудовищное, вовсе не благодетельное, как у Платона.

Убийство Памфилем Палых троих детей и жены из опасения, что они попадут в руки белогвардейцев, имеет сложный литературно-философский генезис<sup>38</sup>. То, что в этом полигенезисе приняло участие и "Государство", не вызывает сомнения. Платон вкладывает в уста Сократа историю некоего мужа из Памфилии (южный берег Малой Азии), который пал в бою, но воскрес на двенадцатый день и поведал о том, что узрел в

потустороннем мире. Грешникам, совершившим преступление против семьи, никогда не будет прощения. Некий тиран из все той же Памфилии, убивший отца и старшего брата, вовеки не искупит своего греха. Отсюда берет у Пастернака начало не только имя 'Памфил', но и замечание о том, что "существование" этого персонажа было "бесповоротно конченное" (365).

Жизнь с партизанами означает бессемейность и для Юрия Живаго, который обращается к Ливерию со словами:

- Наверное, вы воображаете, что для меня нет лучшего места на свете, чем ваш лагерь и ваше общество [Ливерий явно упраекается за утопизм, - И.С.]. Наверное, я еще должен благословлять вас и спасибо вам говорить за свою неволю, за то, что вы освободили меня от семьи, от сына, от дома, от дела, ото всего, что мне дорого и чем я жив (335).

Речь Юрия в лаконичной и негативной форме передает все основные идеи Платона, касающиеся семьи и собственности в утопическом социуме, в котором родители не знают своих детей, а дети - родителей, в котором "стражи", состоящие на содержании государства, не имеют своих домов (кн. 3, 22) и никакого иного занятия, кроме обеспечения всеобщего блага (кн. 5, 13).

3.2.4. Наряду с мифами о сынах Земли и тиране из Памфилии, в пастернаковский роман врастает также третий миф из "Государства" - о пещере (кн. 7). (Можно сказать, пожалуй, что Пастернак старался архаизировать Платона, свести "Государство" к его мифологическим элементам).

Диалоги доктора и партизанского главаря начинаются в вырытром в земле жилище, в "землянке", и продолжаются в ней во время блужданий отряда по тайге. По Платону, непросвещенный человек подобен узнику в пещере с оковами на ногах и шее. Пастернак отводит эту роль Юрию Живаго, отвергающему, пусть и не до конца, утопическое просветительство:

Несмотря на отсутствие оков, цепей и стражи [платоновское уподобление теряет наглядные детали, превращается в снятый троп, - И.С.], доктор был вынужден подчиняться своей несвободе, с виду как бы воображаемой (325).

Рабы пещеры сидят в ней спиной к источнику света; проносимая за их спинами утварь предстает перед ними лишь в виде игры теней на стене, принимаемой ими за реальность; люди, проносящие предметы, сравниваются Платоном с фокусниками, кукловодами.

Как и пленники платоновской пещеры, доктор попадает в иллюзорный мир, где действительное трудно отличить от показного:

Казалось, этой зависимости, этого пленя не существует, доктор на свободе и только не умеет воспользоваться ей (325).

Сам Ливерий выступает для Юрия Живаго в качестве балаганно-площадной фигуры, фигляра:

"Господи, до чего не выношу я этого паяснического тона", -  
про себя вздыхал доктор... (332);  
"Завел шарманку, дьявол! [...]", - вздыхал про себя и негодовал Юрий Андреевич (336).

Во время заключительного диалога с доктором партизанский командир поглощен уходом за огнем, разведенном в почти античном светильнике:

В землянке пахло душистым угаром. Он садился на нёбо, щекотал в носу и горле. Землянка освещалась тонко в листик нащепленными лучинками в треногом таганце. Когда они догорали, обгорелый кончик падал в подставленный таз с водой, и Ливерий втыкал в кольцо новую, зажженную (367).

Познание сущностного, согласно Платону, состоит в выходе из обманывающей нас пещеры, в обращении зрения к солнцу. Ливерий обвиняет Юрия в нежелании выбраться из мрака: "...вы не видите впереди просвета" (334). В споре с Платоном Пастернак объединяет того, кто ввергает обитателей пещеры в заблуждение теневыми узорами, и того, кто рвется к солнцу. С пастернаковской точки зрения утопист (Ливерий) и есть творец минимого мира (ср. стереоскопические картички Урала, сделанные будущим партизанским полководцем в юности). Живаго негодующе думает о Ливерии:

"Какая близорукость [у покинувшего подземную тюрьму, - говорится в "Государстве", - может испортиться зрение, - И.С.]. Я без конца твержу ему о противоположности наших взглядов, он захватил меня силой [Платон считал, что обитателей пещеры можно приучить к яркому свету только в принудительном порядке, - И.С.] и держит при себе, и он воображает [! - И.С.], что его неудачи должны расстраивать меня, а его расчеты и надежды [= утопизм, - И.С.] вселяют в меня бодрость. Какое самоослепление! Интересы революции и существование солнечной системы [ср. созерцание солнца в мифе о пещере, - И.С.] для него одно и то же" (334).

Платон считал, что если вышедший из пещеры на свет вернется к сотоварищам и захочет освободить их, то они, привыкшие к своим обстоятельствам, убьют его (кн. 7, 2). Живаго, пленник пещеры, вынашивает мысль об убийстве Ливерия ("О, как я его ненавижу! Видит Бог, я когда-нибудь убью его", 336; эта фраза возникает во внутренних монологах доктора трижды<sup>39</sup>). На деле попытку погубить Ливерия предпринимает не доктор, а Захар Гораздых с заговорщиками<sup>40</sup>.

3.3. Мы можем теперь раскрыть значение рекламного щита "Моро и Ветчинкин", который преследует Юрия на протяжении всего его пребывания на Урале и около которого совершаются захват доктора партизанами. Реклама указывает Юрию его путь в царство утопии. Надпись (упоминаемая в романе пять раз) составлена из итальянализированного имени Мора<sup>41</sup> и из прочтения этимологии имени Бэкона на русско-германский манер ("Ветчинкин" = 'Schinken' + 'ветчина' = 'bacon'). Классический английский государственный утопизм XVI-XVII вв пропитывается у Пастернака итальяно-русско-немецкими коннотациями и становится ответственным за возникновение трех главных тоталитарных государств в Европе нашего столетия.

#### 4. Москва - Урал (антропологическая утопия Фурье)

4.1.1. Если Ливерий - носитель платоновского утопизма, то Антипов-Стрельников - фурьеист<sup>42</sup>.

Фурье перевел утопическую проблематику из социально-этатической плоскости в антропологическую. Уже в первом своем труде, "Теория четырех движений и всеобщих судеб", он увидел основную несправедливость общественной жизни в угнетении одного пола другим. Современная цивилизация, которую нельзя улучшить и которую поэтому следует уничтожить, 'тиранизирует' женщину. Социальный прогресс имеет дальнейшей целью эмансипировать подавленный пол.

В этом же, в освобождении женщины из-под гнета маскулинизированной культуры, заключен смысл революционности Стрельникова. Вот его слова:

"Грязь, теснота, нищета, поругание человека в труженике, поругание женщины. [Это уравнивание социальной и половой несправедливости самым непосредственным образом изобличает фурьеизм Стрельникова,- И.С.] [...] Какое олимпийство тунеядцев, замечательных только тем, что они ничем себя не утрудили, ничего не искали, ничего миру не дали и не

оставили! [ср. ниже о борьбе Фурье с 'паразитизмом', - И.С.]. Но разве Тверские-Ямские и мчащиеся с девочками на лихачах франты в заломленных фуражках и брюках со штраппами были только в одной Москве, только в России? [Речь идет не об одном лишь русском контексте! - И.С.] Улица, вечерняя улица, вечерняя улица века, рысаки, саврасы, были повсюду. Что объединяло эпоху, что сложило девятнадцатое столетие в один исторический раздел? Нарождение социалистической мысли" (454-455).

Фурье рассуждал о несовершенстве природного устройства Земли (он называл ее 'самым несчастным телом универсума', намереваясь спасти и женщину, и ее мифологический аналог, Землю-Деметру) и предлагал сдвинуть земную ось в целях улучшения климата<sup>43</sup> с помощью 'индустриальной армии'<sup>44</sup> (к последнему мотиву мы обратимся также позднее). Стрельников воспроизводит эти идеи метафорически:

"А мы жизнь восприняли как военный поход [ср. военизацию переделки природы у Фурье, - И.С.], мы камни ворочали [ср. изменение естественного порядка в "Теории четырех движений...", И.С.] ради тех, кого любили" (454).

Новое общество, из которого, как и из старого, нельзя удалить инстинкты, будет основываться, как предполагал Фурье, на соревновании между 'страстными (пассионарными) сериями' (= группами соперничающих друг с другом трудящихся). Именно под этим углом зрения и рассматривает действительность Стрельников:

Стрельников с малых лет стремился к самому высокому и светлому. Он считал жизнь огромным ристалищем, на котором, честно соблюдая правила, люди состязаются в достижении совершенства (251; ср. еще: "... две страсти отличали его" (250) и термин Фурье: "attraction passionnée").

#### 4.1.2. Ряд персональных свойств Стрельникова совпадает с особенностями личности Фурье.

Французский утопист мог работать без сна длительное время. Стрельников страдает бессонницей (Пастернак сообщает ему в данном случае и собственные черты). Соперник доктора трудится по ночам для самообразования, когда поселяется в Юртине перед войной, и теряет способность ко сну в преддверии самоубийства. Подобно Фурье, автодидакту, увлекавшемуся математикой и физикой, Стрельников, кончив университет "классиком", приобретает еще и знания по точным наукам:

...в нем, бывшем реалисте [это слово двусмысленно: оно обозначает не только окончившего реальное училище, но и человека, принадлежавшего некогда к эпохе реализма, во многом определенной в России влиянием Фурье,- И.С.], вдруг проснулась, заглохшая, была, страсть [опять мелькает любимое слово Фурье,- И.С.] к математике, физике и точным наукам. Путем самообразования он овладел всеми этими предметами в университете объеме [...] Усиленныеочные занятия распатали здоровье Павла Павловича. У него появилась бессонница (108).

Как Фурье, так и Стрельников обладают прекрасной памятью:

Теперь задним числом [= Пастернак подчеркивает здесь интertextуальный момент тем, что говорит о некоем запаздывании в развитии героя, о его неспособности сразу найти себя,- И.С.] выяснилось, что у него была необычайная способность приобретать и сохранять знания, почерпнутые из беглого чтения (107).

Во французской прессе утопия Фурье с его идеей превращения морской воды в лимонад, росы - в благовонную жидкость и другими подобными абсурдными проектами была оценена как чистое безумие<sup>45</sup>. Почти сумасшедшими считает ее мужа и Лара:

Он пошел на войну, чего от него никто не требовал [...] С этого начались его безумства [...] Он стал дуться на ход событий<sup>46</sup>, на историю. Пошли его размолвки с ней. Он ведь и по сей день сводит с ней счеты. Отсюда его вызывающие сумасбродства (399; ср. еще квалифицирование Стрельникова рассказчиком: "...революционное помешательство эпохи", 451)<sup>47</sup>.

4.2.1. Встреча со Стрельниковым происходит, когда доктор с семьей приближается к Юрятину. Описание путешествия из Москвы на Урал теснейшим образом соприкасается с утопией Фурье, так что этот путь вполне естественно ведет Юрия к знакомству с фурьеистом.

Разумеется, мобилизация на принудительные работы была фактом эпохи воениного коммунизма. Однако в рассказе о людях, согнанных на рты окопов и сопровождающих доктора в его поездке, ощущимы и отзвуки чтения Пастернаком "Теории четырех движений..." - реминисцентный и фактический пласты романа поддаются здесь надежному разделению<sup>48</sup>.

В своей программе улучшения климата, набросанной в "Теории четырех движений...", Фурье называет Белое Море и Архангельск<sup>49</sup>. В "Докто-

ре Живаго" у трудармейцев, посланных на Урал, были предшественники (как выясняется, интегрекстуального порядка):

Собранныю [...] партию, по примеру ранее составленной, рывшей окопы на Архангельском фронте, вначале предполагали двинуть в Вологду, но с дороги вернули и через Москву направили на Восточный фронт (220).

Фурье щедро зачислял в паразиты, которые в гармоническом обществе, должны будут трудиться, как и прочие, в фаланстерах, юристов, купцов, фабрикантов, а также всех, кто обслуживает других людей; к тунеядцам принадлежат даже больные. Как раз таков пестрый контингент обязанных к труду спутников Юрия Живаго:

Рядом с хорошо одетыми богачами, петербургскими биржевиками и адвокатами, можно было видеть отнесенных к эксплуататорскому классу лихачей-извозчиков, полотеров, банщиков, татар-старьевщиков, беглых сумасшедших из распущенных желтых домов, мелочных торговцев и монахов (216).

Работу 'серий' Фурье разбирает на примере человеческой массы из шестисот участников (различающихся между собой во всех отношениях: по возрасту, полу, имущественному положению). Число мобилизованных, сообщенное поначалу в "Докторе Живаго", близко к тому, которое Фурье считал оптимумом для организации фаланги:

Пассажиров этого разряда было человек до пятисот, люди всех возрастов и самых разнообразных званий и занятий (216).

Знаменательно, что приведенная Пастернаком цифра колеблется:

Целый эшелон трудармии. Вместе с вольноедущими человек до семисот (227),-

и в качестве среднего арифметического точно совпадает с цифрой у Фурье.

Тогда как для Фурье человеческие страсти могут служить на потребу общества, будучи канализованными в процессе трудового соперничества, Пастернак в своем отрицании утопизма вообще и фурьеизма в частности рисует страсть несублимируемой: одна из случайно попавших в ряды трудармейцев женщин, Тягунова, убивает свою соперницу и

любовника и скрывается от наказания вместе с боготворящим ее юным Васей Брыкиным<sup>50</sup>.

4.2.2. Пастернак не противопоставляет резко своего героя утопическому миру Фурье точно так же, как и остальным утопическим мирам, интегрекстуализованным в романе. Живаго солидаризуется с бежавшей от трудовой повинности Тягуновой, но он же с энтузиазмом берется за расчистку железнодорожных путей от снега, производимую так, как будто ее спланировал Фурье, мечтавший о коллективном, соревновательном, приносящем наслаждение труде:

Линию расчищали со всех концов сразу, отдельными в разных местах расставленными бригадами [ср. серий Фурье, - И.С.] [...] Стояли ясные морозные дни. Их проводили на воздухе, возвращаясь в вагон только на ночевку. Работали короткими сменами [занятие кaim-то одним трудом не должно быть продолжительным, - мечтал Фурье, - И.С.], не причинявшими усталости, потому что лопат не хватало, а работающих было слишком много. Неутомительная работа доставляла одно удовольствие (228).

Расчищая снежный занос, Живаго кажется себе ребенком и ассоциирует счастье работы с вкусовыми ощущениями:

Как напоминало это дни далекого детства, когда [...] маленький Юра кроил на дворе из такого же ослепительного снега пирамиды и кубы, сливочные торты, крепости и пещерные города! Ах, как вкусно было тогда жить на свете, какое все кругом было заглядение и объеденье! (229).

Фурье полагал, что дети должны трудиться наравне с взрослыми (дабы не предаваться разрушительным инстинктам), и уделял проблеме еды в утопическом социуме чрезвычайное, почти патологическое, внимание<sup>51</sup>, отличавшее его от других утопистов (так, например, он лелеял надежду на то, что жители больших городов оставят их, узнав, как обильно питаются люди в фаланстерях). Пастернак сделал мотив насыщения едой детерминирующим в эпизоде снегоочистки:

...эта трехдневная жизнь на воздухе производила впечатление сытности. И не без причины. Вечерами работающих оделяли горячим сеянным хлебом свежей выпечки, который неведомо откуда [если реалия конституируется в тексте как неопределенная, ищи претекст! - И.С.] привозили неизвестно по какому наряду (229)<sup>52</sup>.

### 5. Leibniz contra utopiam

5.1.1. Как историк философии Пастернак был специалистом по Лейбничу. В Марбурге, в семинаре Н. Гартмана Пастернак читал доклад о Лейбнице<sup>53</sup>. В поэзии Пастернака 30-х гг, подготовившей "Доктора Живаго", регулярно отыскиваются аллюзии, подразумевающие Лейбница. Пoesия "Спекторский" была названа именем лучшего русского знатока философии Лейбница (и ученика отца Блока)<sup>54</sup>. В своей оde Стalinу Пастернак хитроумно оглянулся на Лейбница с целью самоопровержения. Чтобы понять фактический смысл ниже следующих стихов, нужно знать, что для Лейбница бесконечно малые величины не разнятся с бесконечно большими (ибо в математике, в принципе, нет самого большого и самого малого; Пастернак собирался подготовить работу о методе бесконечно малых у Лейбница):

Как в этой двухголосой фуге  
Он сам ни бесконечно мал,  
Он верит в знанье друг о друге  
Предельно крайних двух начал<sup>55</sup>.

Не выполнивший свой студенческий замысел написать кандидатское сочинение о Лейбнице, Пастернак старался вернуть долг философии и в конце концов расплатился с ней в романе.

5.1.2. Оппозитивом насильтственно-утопического, творимого по произволу субъекта переустройства реальности выступает в пастернаковском романе тот "лучший из миров", который был смоделирован Лейбницем в его "Теодицеи" (1710). Лейбниц был, бесспорно, самым последовательным в мировой философии критиком утопизма<sup>56</sup>. Усовершенствование созданного Богом и постоянно свидетельствующего о нем сущего может причинить, по Лейбничу, лишь вред, раз в нашем мире все пребывает в гармонической взаимосвязи и сбалансированности.

Русская жизнь до начала революционных экспериментов предстает в "Докторе Живаго" в виде полностью отвечающей воззрениям Лейбница на данную нам действительность:

Все движения на свете [Пастернак берет мировой масштаб, хотя и говорит только о России; возможно, автор "Доктора Живаго" защищает здесь Лейбница от одного из его оппонентов, Фурье, для которого особенно важным было понятие 'движения', или 'притяжения', - И.С.] в отдельности были рассчитанно-трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди труди-

лись и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот [ср. механицизм Лейбница, сравнивавшего, в частности, душу с автоматом,- И.С.]. Но механизмы не действовали бы, если бы главным их регулятором [регуляция - слово Лейбница, которым он пользуется, доказывая, что универсум направляется божественным замыслом,- И.С.] не было чувство высшей и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих судеб, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья [ср.: 'лучший из миров'; заботу о мире принимает на себя у Лейбница Бог, - И.С.] по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, что одни называют царством Божиим [= однозначная адресация к "Теодицеи",- И.С.], а другие историей, а третьи еще как-нибудь (16-17)<sup>57</sup>.

В барочной модели Лейбница Творец допускает возможный мир, где всему дано случиться, но сей мир предвиден Богом и потому и случаен, и необходим. Случайное и необходимое не противоречат друг другу. Царство Божие необходимо ex hypothesi, т.е. по предположению его Создателя, которое вовсе не всегда открывается рассудку простых смертных. Лейбницевская неслучайность случающегося иллюстрируется Пастернаком в его романе множество раз; с наибольшей отчетливостью она проявлена в часто анализировавшейся исследователями сцене смерти отца Галиуллина (для интегрекстуально-философского прочтения этого эпизода важно напомнить, что Бог Лейбница делает присутствующее и отсутствующее связанными между собой):

Скоячившийся изуродованный был рядовой запаса Гамазетдин, кричавший в лесу офицер - его сын, подпоручик Галиуллин, сестра была Лара, Гордон и Живаго - свидетели, все они были вместе, все были рядом, и одни не узнали друг друга, другие не знали никогда, и одно осталось навсегда неустановленным, другое стало ждать обнаружения до следующего случая [ср. категорию случайного в "Теодицеи",- И.С.], до новой встречи (120).

Бог в системе рассуждений Лейбница есть бесконечная совершенная причина, распространяющаяся на все, что возможно. Зло наличествует в мире как одна из его потенций, но поскольку Бог добр, оно минимально. Излагая соображения о зле, Лейбниц спрашивает: разве наслаждается вполне здоровьем тот, кто ни разу не болел? Пастернак отвечает на этот вопрос в духе поставившего его, когда изображает в "Докторе Живаго" выздоровление Юрия от тифа:

Он стал выздоравливать [...] Как блаженный, он не искал между вещами связи, все допускал [т.е. пребывал в царстве Божием Лейбница, где все скординировано друг с другом и без вмешательства субъекта, - И.С.], ничего не помнил, ничему не удивлялся (206).

Лейбниц различает между реальным злом, которое от Всемогущего, и формальным, которое возникает среди людей из-за того, что они, в противоположность Создателю, недостаточны, тварны. Такое формальное зло есть кража, обнаруживающая общую дефицитность человека. Пастернак придает этому положению Лейбница наглядность, вводя в сцену свадьбы Лары мотив воровства, не имеющий ни малейшего сюжетного последствия. Вору, проникшему в дом, ничего не удается унести с собой. Человеческое зло формально не только для Лейбница, но и для его иллюстратора.

5.2. С барочной "Теодицеей" Лейбница боролся просветитель Вольтер в "Кандиде". Герой Вольтера, как и полагается центральному персонажу философского романа, оказывается на грани смерти, следя наставлению своего учителя, Панглосса (= Лейбница), считающего что наш мир - лучший из всех. (Повторим, что философский роман может оценивать заложенную в нем идею и позитивно, как это имеет место, скажем, в "Что делать?", и негативно, как демонстрирует "Кандид", но в любом случае он ассоциирует философствование с отрицанием личностного).

Пастернак написал анти- "Кандида", доказательство лейбницевского доказательства Божьего бытия<sup>58</sup>. Восприятие Юрием философских построений Веденяпина воссоздает отношение не только Алехии Карамазова к Зосиме, но и Кандида к Панглоссу. В противовес Панглоссу (и совпадая со старцем из романа Достоевского), Веденяпин внушает своему ученику истинную доктрину (назовем ее историотеизмом), которой тот придерживается недостаточно строго. Уже дважды приводившаяся нами фраза Веденяпина о 'чистоте' его племянника обнажает этимологию имени 'Candide' (= 'невинный', чистый). В нацеленном против Вольтера пастернаковском романе у его героя не вышло то, что получилось у Кандида, - найти утопическое счастье, возделывая свой сад (в Варыкино).

5.3.1. Репрезентативность - вот слово, которое исчерпывающе определяет роман Пастернака. "Доктор Живаго" репрезентирует разные воплощения философского романа и одновременно делает презентацию принципом внутритекстового смыслового построения. Юрий Живаго - эквивалент любого из персонажей, выведенных Пастернаком, даже как будто и самых отрицательных. Как и Лара, покушавшаяся на Корнакова, Юрий стреляет в Ранцевича. Живаго выпицивает мысль об убийстве

Ливерия - ее стараются реализовать заговорщики. О двойничестве Юрия и Стрельникова роман говорит без обиняков: "Мы в книге рока на одной строке" (395). Живаго не знает о смерти отца, случающейся рядом с ним, подобно Галиуллину. Комаровский соблазняет Лару, дочь владелицы пошивочной мастерской, - Юрий пытается объясниться в любви к Ларе, когда та гладит белье. Свободный, в отличие от своих спутников в поезде, гвардейцев, доктор вскоре уравнивается с ними как узник Ливерия. И т.д. Этот перечень эквивалентностей можно было бы продолжить, и тогда он стал бы описанием семантической структуры "Доктора Живаго".

5.3.2. Совершенный в своей репрезентативности, Юрий Живаго со-вмещает в себе обе философские установки, которые приведены Паустернаком в столкновение: "жизнь в истории" и утопический постисториализм. Философия персонифицирована паустернаковским героем двуипостасно. Рискована для личности вторая из этих философий. Юрий Живаго должен опасаться за жизнь всякий раз, когда он поддается прельщению утопией. Разделяя ранние революционные идеалы, он вынужден голодать в Москве. Фурьеристское путешествие на Урал едва не завершается катастрофой, когда доктора арестовывают. Надежда прокормиться своими руками в Варыкино рушится после заквата доктора партизанами. Смерть настигает Юрия Живаго в утопическом месте, в Москве 20-х гг, где, как сказано в романе, "возникли разного рода Дворцы Мысли, Академии художественных идей" (468; доктор сотрудничает в этих учреждениях).

Итак, Живаго умирает как приобщенный утопизму. Парадокс репрезентативности состоит, однако, в том, что вместе с утопистом умирает и антиутопист, проводник лейбницаевской "Теодицеи". Хотел того Паустернак или нет, он потерял в своем неразрешимо амбивалентном романе различие между оправданием Бога и критикой утопического человекобожия. Другое тоталитаризма, которое искал Паустернак, обернулось другим тоталитаризмом, т.е. Ничем. Что бы ни хотел Паустернак субъективно поведать нам в своем романе, он показал в нем конец тоталитарности, или, иными словами, репрезентативности. Тем большиим, что говорит текст, помимо автора, что говорит автор, помимо авторства, что пишет писатель, отрицая себя в письме, что несказуемо, помимо литературы, что составляет специфику литературности, было у Паустернака сомнение в истине (богооправдания), перемешанной с неотделимой от нее (в литературе) ложью (человекобожия). Литература посвящает себя тайне (является двойным и многократным письмом), потому что она исключает себя из всего, из правды и неправды.

"Я там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало".

\*

Существуют два предположения о том, почему литературный текст нуждается в интерпретации. Оба исходят из того, что литература есть коммуникация.

Согласно одной из этих концепций, литература требует соавторства от читателя (представляя собой явление гипокреативности): она оставляет реципиенту незаполненное смыслом текстовое пространство ("Leerstellen")<sup>59</sup>, создается как "открытая структура", "органа арпта"<sup>60</sup> (т.е. ставит себя в зависимость от читательского произвола, которому присваивается имя 'активности').

Вторая теория делает писателя (гиперактивным) обманщиком, творящим ради того, чтобы ввести читателей в заблуждение. Ее сформулировал Набоков в "Других берегах":

...настоящая борьба ведется не между героями романа, а между романистом и читателем<sup>61</sup>.

Не будем спорить ни с той, ни с другой теориями. Обе правы в той мере, в какой литературный текст является только коммуникатором, только моментом общения между адресантом и адресатом. Как и всякий случай общения, литература может недоговаривать или болтать лишку. Но к чему была бы нужна литература, если бы она была только похожей на нашу повседневную, несовершенную и (другая сторона несовершенности субъекта) расставляющую ловушки нашим партнерам, коммуникацию?

У литературы как коммуникации есть два уровня, - так учит нас роман Пастернака. На одном из них автор текста общается с читателем, на другом - с дискурсивностью. На первом уровне автор художественного текста поощряет смыслопорождающие способности того, к кому он адресуется, или сам увлекается смысловой игрой. На втором он беспомощен как инициатор новых смыслов.

Литература бессмысленна (что она тематизирует, становясь, очень часто абсурдом; ни один из иных дискурсов не может себе этого позволить). Все ее собственное, не исчерпываемое внешней коммуникативностью, содержание сводится к негации смежных дискурсов. Если литература и есть общение в глубоком и ей собственном смысле слова, то, во-первых, негативное, и во-вторых, не с читателем, а с дискурсивностью как таковой. Общаться (недоговаривая или пускаясь на ложь) можно и вне литературы.

Литература бессмысленна - но только для того, кто отождествляет смысл с дискурсивностью. С некоей наддискурсивной точки зрения литература полна смысла. Она демонстрирует его безместность, его негириемость, его неабсолютность, его превращаемость. Л и т е р а т у р а в ы - я в л я ет и с т о р и ч н о с т ь с м ы с л а . Его преходимость. Обобщая: его принципиальное отсутствие. Интерпретация находит смысл художественного произведения не в нем самом: в претекстах, в фактических прообразах героев, в жанровых прототипах (в "памяти жанра", - сказал бы Бахтин) и т.п.

Формалисты были правы, отвергая у литературы ее собственное содержание. Они ошибались только в определении столь важного для них понятия 'остранения'<sup>62</sup>. Фактический мир странен для литературы не потому, что она умеет видеть его по-новому, но потому, что она не способна подойти к нему - в сотрудничестве с прочими дискурсами - как к поддающемуся прочному осмыслиению в каком бы то ни было жанре.

### П р и м е ч а н и я

- <sup>1</sup> Философским основанием романа Гончарова служило, скорее всего, учение Шопенгауэра, в котором "воля к жизни" (= Штольц) конфронтирует с нирваническим снятием этой воли (= Обломов) - ср.: Joachim T. Baer, *Arthur Schopenhauer und die russische Literatur des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts* (= Slavistische Beiträge, Bd. 140), München 1980, 7-14.
- <sup>2</sup> Гностические источники этого романа, возвращающего нас к первохристианской ереси, еще ждут своего исследователя.
- <sup>3</sup> Ф.М. Достоевский, *Полн. собр. соч. в 30-ти тт.*, т. 14, Ленинград 1976, 61. Представления Достоевского о современном и будущем состояниях общества очевидным образом восходят к политической философии Гоббса, для которого смысл истории заключался в движении от естественного права к христианской государственности. Следы чтения Достоевским "Левиафана" без труда отыскиваются в "Крокодиле", где государство выступает в облике чудовищного животного так же, как и у Гоббса. "Война всех против всех", которую Гоббс мыслил как первоначало человеческого мира ("De cive"), отразилась в эпилоге "Преступления и наказания".
- <sup>4</sup> Подобно тому, как литература предупреждает об опасности философствования, и философия может указывать на то, что уход из нее влечет за собой отрицательные последствия для ее недостаточно верного адепта. В этом случае философия использует литературную форму выражения как образец самооправдания, самозащиты дискурса. Так

рождается негативный жанровый двойник философского романа, другое философствующей литературы. Разительным примером здесь может служить "Философия одного переулка" А.М. Пятигорского (Лондон 1989). Вот как формулирует автор этой псевдолитературной философиодишии (заявляющий о себе: "Я - не писатель", 7) главную мысль своего текста: "...если ты уже выбрал философствование, то дороги назад, в нормальную жизнь, нет. И если ты попытаешься вернуться, то найдешь не жизнь, а то, что гораздо ниже и хуже жизни, и это будет гибелю тебя, который выбрал" (7, разрядка автора, - И.С.). Сочетание идеи выбора в качестве конституирующей личность и антиэстетизма ведет свое начало у А.М. Пятигорского от Кьеркегора.

- <sup>5</sup> André Jolles, *Einfache Formen. Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen, Witz* (1930), Tübingen 1982, 51 ff.
- <sup>6</sup> Добавим сюда, что в ранних версиях романа капитал Юрия Живаго транжирит его дядя, Федька; ср. попытку присвоить себе состояние Обломова братом Пшеницыной.
- <sup>7</sup> Ср.: Olga Matich, *Doktor Zhivago: Voyeurism and shadow play as narrative perspective* (in press). Об обращении Пастернака к "Что делать?" уже в "Повести" см.: Erika Greber, *Intertextualität und Interpretierbarkeit des Textes. Zur frühen Prosa Boris Pasternaks*, München 1989, 189 ff.
- <sup>8</sup> Борис Пастернак, *Собр. соч. в пяти томах*, т. 3, Москва 1990, 42. В дальнейшем ссылки на этот том см. в тексте статьи. В первоначальных набросках романа Веденяпин, собирающийся отвлечь племянника от 'монашества', совпадает с Зосимой в еще большей степени, чем в окончательной редакции: "Пол, то есть то обстоятельство, что человек существует на земле в виде мужчины и женщины, не такой пустячок, чтобы по-монашески от него отмахиваться" (576-577).
- <sup>9</sup> Ср. о неполноценном антиутопизме русских антиутопий XX в.: Jurij Striedter, *Die Doppelfunktionen und ihre Selbstaufhebung. Probleme des utopischen Romans, besonders im nachrevolutionären Russland*.- In: *Poetik und Hermeneutik*, Bd. X. *Funktionen des Fiktiven*, München 1983, 277 ff.
- <sup>10</sup> Цит. по: В.М. Борисов, Имя в романе Бориса Пастернака "Доктор Живаго", "Быть знаменитым не красиво..." *Пастернаковские чтения*, вып. 1, Москва 1992, 109.
- <sup>11</sup> В.М. Борисов, Е.Б. Пастернак, Материалы к творческой истории романа Б. Пастернака "Доктор Живаго".- *Новый мир*, 1988, N 6, 222.
- <sup>12</sup> См. подробнее об этом утопическом тексте: Д.В. Панченко, Ямбул и Кампанелла (О некоторых механизмах утопического творчества).- В: *Античное наследие и культура Возрождения*, Москва 1984, 98 и след.

- <sup>13</sup> Виновность Коли компрометирует инвариант отприродных утопий – свойственное им представление о том, что *status naturalis* предполагает девственную невинность человека; об этой характерной черте обсуждаемого утопического жанра см. подробно: Frank Baudach, *Planeten der Unschuld - Kinder der Natur. Die Naturstandsutopie in der deutschen und westeuropäischen Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts*, Tübingen 1993, 46 ff.
- <sup>14</sup> Интересно, что черты реального природного изобилия Пастернак приписывает не Бирючам, но Зыбушино: "Пригчей во языцах были состоятельность его купечества и фантастическое плодородие его почвы" (133). Природное утопизируется в том месте, где его нет в избытке. Похоже, что для Пастернака утопическое мышление было, прежде всего, компенсаторным.
- <sup>15</sup> Пастернак не был первым русским писателем, обратившимся к ереси катаров. До него это сделал Блок в драме "Роза и крест" (см. об этом подробно: Schamma Schahadat, *Intertextualität und Epochenpoetik in den Dramen Aleksandr Bloks* (ms)). Почти в то же самое время, когда Блок писал "Розу и крест", религиозными движениями на юге Европы занимался и Л.П. Красавин: 1) *Очерки религиозной жизни в Италии XII-XIII веков*, С.-Петербург 1912; 2) *Основы средневековой религиозности в XI-XIII веках преимущественно в Италии*, Петроград 1915.
- <sup>16</sup> Клинцов воплощает собой идеологию русского анархизма. В его высказываниях присутствует пафос творческой деструктивности, заимствованный у Бакунина ("Эти разрушения - закономерная и предварительная часть более широкого созидательного плана", 163). Клинцов соотнесен также с Герценом, чей сын, глухонемой от рождения, учился говорить в специальной школе (на то обстоятельство, что способность Клинцова имитировать нормальную речь делает из него наследника Герцена, наше внимание обратила И.Р. Деринг-Смирнова). О том, что Клинцов похож на младшего Верховенского (анархиста Нечеева), в романе сказано прямо. Пастернак ведет родословную анархизма от Фра Дольчино, который, действительно, не признавал государства (об анархических мотивах в его учении см.: Л.С. Чиколини, *Идеи безгосударственности в Италии накануне Нового времени*.- В: *Анархия и власть*, Москва 1992, 22).
- <sup>17</sup> Nikolaus Lenau, *Sämtliche Werke*, Stuttgart 1959, 762. Эпиграф из Ленау открывает сборник стихов Пастернака "Сестра моя - жизнь"; тексты из этой книги оставили многочисленные следы в главах "Доктора Живаго", посвященных Февральской революции" (ср. хотя бы мотив бунтующей природы в обоих случаях).
- <sup>18</sup> Кампанелла вменил в обязанность своим горожанам то, что было обычаем у спартанцев, призывающих на сходку (Apella) раз в месяц

- в полнолуние. Пастернак не взял в расчет этот источник источника (Мелюзееvo с его апостоликами не имеет ничего общего со Спартой).
- <sup>19</sup> Во время Гражданской войны юрятинцы обходятся без "денежных знаков" (391). Деньги не известны и горожанам утопического государства Кампанеллы. Но в то же время это общеутопический мотив, так что установить, из какой именно утопии перенял его Пастернак, не представляется возможным. О христианско-утопическом образе города ср.: С.А. Гончаров, Мифологическая образность литературной утопии, *Литература и фольклор. Вопросы поэтики*, Волгоград 1990, 42.
- <sup>20</sup> Этот мотив будет повторен в ряде позднейших утопий, в том числе в "Кодексе природы" Морелли ("Code de la nature", русск. перевод был выполнен в 1921 г.).
- <sup>21</sup> Может показаться, что приведенный отрывок дневника наследует не столько Мору, сколько Толстому, однако интерпретация переживаний Юрия, вызванных физическим трудом, в толстовском духе отводится в пастернаковском романе как неверна: "Я [...] не проповедую Толстовского оправдания и перехода на землю..." (275). Еще один анти-толстовский мотив в варыкинских главах передает чувство вины пастернаковского героя, захватившего государственное имущество: "Наше пользование землей беззаконно. Оно самочинно скрыто от установленного государственном властью учета. Наши лесные порубки - воровство, не извинимое тем, что мы воруем из государственного кармана, в прошлом - крюгеровского" (275). Для Толстого, напротив, у земли нет собственников и, следовательно, не существует и отступлений от прав владения ею.
- <sup>22</sup> Морелли конкретизирует Мора, уточняя, что срок наказания за обман брачного партнера должен составлять не менее одного года; Юрий Живаго пребывает в пленау у партизан почти то же самое время - в течение полутора лет.
- <sup>23</sup> Двойничество (реального возницы и Вакха из уральского фольклора) - обычное литературное средство маркировки интертекстуальности. При отправке с железнодорожной станции в Варыкино с Тоней случается истерика; начальник станции объясняет происшедшее необычной погодой: "...жара африканская, редкая в наших широтах" (264). Урал как бы сдвигается в пастернаковском романе в сторону юга, где часто локализуются утопии.
- <sup>24</sup> Среди прочего, Елена Прокловна спрашивает Юрия и о том, когда родился Грибоедов. На экзамене по новой русской литературе студенту философского факультета Московского университета, Пастернаку, достался билет с вопросом о творчестве Грибоедова (Е.Пастернак, Борис Пастернак. Материалы для биографии, Москва 1989, 180). Изображая дом Микулициных, он же: Дом Соломона, Пастернак держал в памя-

ти еще одно собрание мудрецов - профессоров законченного им университета. Отсюда объясняется отчество Елены Прокловны: неоплатоник Прокл писал о деятельности Академии Платона (о прототипе любого объединения философов). Заметим еще, что философия Прокла (особенно его понятие "гипотетического") была предметом оживленной дискуссии в кругу неокантианцев (Коген, Наторп, Н. Гартман); см. подробно: Werner Beierwaltes, *Proklos. Grundzüge seiner Metaphysik*, Frankfurt a. M. 1965, 270-274. Как видно, одно из начал пастернаковского романа - его криптоавтобиографизм, его незаметный лиризм, его ненавязчивая жанровая синкретичность. Имя 'Микулицын' в его женском варианте точно анаграммирует литературоведческий термин "кульминация". Это имя, явно изобретенное Пастернаком (его нет у Б. Унбегауна: B. Unbegau, *Russian Surnames*, Oxford 1972, *passim*), маркирует в романе начало его конца (= физическая близость Юрия и Лары, партизанский плен и т.д.).

<sup>25</sup> А.А. Блок, *Собр. соч.*, т. 3, Москва, Ленинград 1960, 270.

<sup>26</sup> Aldous Huxley, *Brave New World*, London 1977, 37.

<sup>27</sup> Возможно, под влиянием одного из своих марбургских учителей, Кассирера, который изучал философию Бэкона (ср.: E. Cassirer, *Funktions- und Substanzbegriff*, Berlin 1910, 230 ff). Об отношениях между Пастернаком и Кассирером см.: Н. Вильмонт, *О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли*, Москва 1989, 148-149; Е. Пастернак, цит. соч., 160.

<sup>28</sup> *The Works of Francis Bacon*, Vol. I, London 1858, 172.

<sup>29</sup> Эпизод смерти героя в пастернаковском романе в высшей степени многоизначен и допускает множество интерпретаций - ср. некоторые из них: Louis Allain, *Résurgences de la "troïka" de Gogol chez Pasternak et Gumilëv*. - *Revue des Étude Slaves*, 1987, LIX-4, 777 ff; Борис Гаспаров, Временной контрапункт как формообразующий принцип романа Пастернака "Доктор Живаго". - In: *Boris Pasternak and His Times. Selected Papers from the Second International Symposium on Pasternak*, ed. by L. Fleishman, Berkeley 1989, 320 ff; И.Р. Деринг-Смирнова, *Пастернак и немецкий романтизм*, 2 ("Доктор Живаго" и "Генрих фон Офтердинген") (ркп.).

<sup>30</sup> См. комментарии В.М. Борисова и Е.Б. Пастернака к "Доктору Живаго" в цитируемом нами издании (703-705).

<sup>31</sup> Предыстория Терентия Галузина, подробно прослеженная в "Докторе Живаго", выходит за рамки магистральной темы романа о любви Лары и доктора. Это пастернаковское отступление в иноповествование маркирует заимствованность развертываемого здесь автором "Доктора Живаго" сюжета.

- <sup>32</sup> Николай Асеев, *Собр. соч.*, т. 2, Москва 1963, 360.
- <sup>33</sup> См. "Предисловие" Щицкова к его повести: Вяч. Щицков, *Полн. собр. соч.*, т. 5, Москва, Ленинград 1927, 5.
- <sup>34</sup> А.С. Пушкин, *Полн. собр. соч.*, т. 9 [Ленинград] 1938, 19. В дальнейшем ссылки на этот том - в тексте статьи.
- <sup>35</sup> О других откликах Пастернака на платоновскую философию см.: Лазарь Флейшман, *Борис Пастернак в двадцатые годы*, München [1981], 122, 187, 220; J.R. Döring-Smirnov, Ein karnevalesk Spiel mit fremden Texten. Zur Interpretation von B. Pasternaks Poem *Vakchanalija*. - In: *Text. Symbol. Weltmodell*. Johannes Holthusen zum 60. Geburtstag, hrsg. von J.R. Döring-Smirnov, P. Rehder, W. Schmid, München 1984, 72 ff; Д. Явор, Трактовка стихотворения Бориса Пастернака "Раскованный голос" в свете учения платоновского Сократа об Эросе. - In: *Acta universitatis Szegediensis. Dissertationes slavicae*, XIX, Szeged 1988, 241 ff; Olga Matich, op. cit.
- <sup>36</sup> Заодно Пастернак выступает и против платониста Сологуба, чей роман "Творимая легенда" открывается словами: "Беру кусок жизни, грубой и бедной [ср.: "...существование [...] комок грубого [...] материала"]", И.С., и творю из него сладостную легенду, ибо я - поэт" (Федор Сологуб, *Собр. соч.*, т. 18, СПетербург, изд-во "Сирин", 3). К платонизму Сологуба ср. его статью "Искусство наших дней" ("Русская мысль", кн. XII, Москва, Петроград 1915): "...все содержание предстоящего нам мира сводится к наименьшему числу общих начал..." (36, т.е. к платоновским эйдосам).
- <sup>37</sup> Рецепция философии Вл. Соловьева в "Докторе Живаго" могла бы составить предмет обширного самостоятельного исследования; эта проблема затрагивается в: А.В. Лавров, Еще раз о Веденяпине в "Докторе Живаго", *Быть знаменитым некрасиво...*, 97-99. Кроме Вл. Соловьева, Пастернак противопоставляет Платону в партизанской части романа и Шеллинга. Если у Платона граждане его государства достигают завершенности-в-себе, самотождественности, полной неизменности, свойственной богам (миф о Протее - лишь вздорная сказка, кн. 2, 20), то Юрий Живаго, напротив, берет себе в пример шеллинговского субъекта, идентичного познаваемому им объекту (природе): "Привычный круг мыслей овладел Юрием Андреевичем [...] О мимикии, о подражательности и предохранительной окраске [...] Что такое субъект? Что такое объект? Как дать определение их тождества? В размышлениях доктора Дарвин встречался с Шеллингом, а пролетевшая бабочка с современной живописью, с импрессионистическим искусством" (342). С платоновской самотождественностью (и следующей отсюда социальной монофункциональностью) идеальной личности не согласна и Лара, которая заявляет Юрию незадолго до его похищения партизанами: "Каким непоправимым ничтожеством надо быть, чтобы

играть в жизни только одну роль, занимать одно лишь место в обществе, значить всего только одно и то же!" (296). О пастернаковском шеллингианстве см. также: Борис Гаспаров, *Gradus ad Parnassum* (Самосовершенствование как категория творческого мира Пастернака). - *Wiener Slawistischer Almanach*, Bd. 29, 1992, 100-102.

- <sup>38</sup> В статье "Двойной роман" мы указали на источник этого эпизода, содержащийся в анархистской философии Штирнера. Другим претекстом здесь служит начало "Истории Пугачева": "Сохранилось поэтическое предание: казаки, страстные к холостой жизни, положили между собой убивать приживаемых детей, а жен бросать при выступлении в новый поход" (7).
- <sup>39</sup> Чем более глубоко завуалированы в литературном произведении его интertextуальные контакты (а именно такая тщательная маскировка генезиса характерна для "Доктора Живаго"), тем большая нагрузка ложится на сигнализирование интertextуальности (откуда, в частности, гипертрофия повторяемости в пастернаковском тексте).
- <sup>40</sup> Образ платоновской пещеры в "Докторе Живаго" уже подвергся анализу в статье Б.М.Гаспарова "Временной контрапункт..." (346-347). Б.М. Гаспаров связывает с платоновским мифом, прежде всего, тот отрывок романа, который повествует о путешествии доктора по Сибири после его дезертирства из партизанского отряда: "Человеку снились доисторические сны пещерного века. Одиночные тени [...] часто казались ему [Юрию Живаго,- И.С.] знакомыми, где-то виденными. Ему чудилось, что все они из партизанского лагеря" (372). В этом месте пастернаковского текста платоновский претекст пропадает с максимальной ясностью. Пастернак, присовокупим мы к наблюдению Б.М. Гаспарова, суммирует и, можно сказать, опровергивает здесь все треминисценции из мифа о пещере, которыми кишит партизанская часть романа (ср. мотив *déjà vu* в приведенной цитате).
- <sup>41</sup> В 1561 г. "Утопия" Мора стала известной в Италии под титулом: Tomaso Moro, "Del governo dei regni et delle repubblica d'Utopia" (cv. % Frank E. Manuel, Fritzie P. Manuel, *Utopian Thought in the Western World*, Oxford 1979, 151).
- <sup>42</sup> Интерес Пастернака к учению Фурье и русскому фурьеризму заметен, начиная со "Спекторского". Лирический субъект этой поэмы подбирает библиотеку для Наркомата иностранных дел, занимаясь тем же, что составляло в свое время обязанность чиновника по иностранному ведомству и первого русского фурьериста, Буташевича-Петрашевского.
- <sup>43</sup> Когда это совершится, появятся всяческие животные с противоположными к их исходным качествами: антильвы, антикиты и пр. - ср. антифурьристскую шутку Пастернака: 'Анти-пов'.

- <sup>44</sup> Милитаризацию производства провидели в будущем и другие утописты, например, Беллами и Оуэн.
- <sup>45</sup> Ср. интересную гипотезу о том, что в "Записках сумасшедшего" Гоголь отозвался на утопическую философию Фурье: О.Г. Диляктorskая, *Фантастическое в "Петербургских повестях" Н.В. Гоголя*, Владивосток 1986, 39 и след.
- <sup>46</sup> Пара невзначай и в обращенной форме цитирует Герцена ("Перед грозой"), который отрицал в своей книге "С другого берега" утопическую веру в прогресс: "...я стал покойней, перестал сердиться на жизнь за то, что она не дает того, чего не может дать..." (А.И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. 6, Москва 1955, 20).
- <sup>47</sup> Пастернак вряд ли знал замечательную статью Розанова "Где истинный источник "борьбы века"? ", в которой марксизм был осужден как одно из утопических мечтаний, наряду с утопиями Платона, Мора и Кампанеллы. Выступая против Маркса, Розанов прибегал к аргументу его противника: причина утопизма, - говорится в розановской статье, - лежит в отчуждении субъекта от мира объектов, в одиночестве человека. Если у Пастернака в безумстве обвиняется только фурьерист Антипов-Стрельников, то Розанов рассматривает любой утопизм как "некоторый протекающий в истории психоз" (подчеркнуто автором; И.С.; В.В. Розанов, *Религия и культура*, СПб 1899, 120). Позднейшие работы Розанова были важным претекстом "Доктора Живаго" - см. подробно: И.П. Смирнов, *Порождение интертекста* (Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б.Л. Пастернака) = Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 17, Wien 1985, 96 ff, 188 ff.
- <sup>48</sup> Говоря об историко-реальной стороне романа, не нужно забывать о том, что инициатива Троцкого по формированию трудовых отрядов на армейский манер была в своих корнях утопической. Однако это начинание Троцкого вряд ли имело фурьеристскую окраску - об утопических предпосыпках (из эпохи Николая I) милитаризации труда в эпоху военного коммунизма см. подробно: Richard Stites, *Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution*, New York, Oxford 1989, 50-52.
- <sup>49</sup> Charles Fourier, *Théorie des quatre mouvements et des destinées générales*. Nouvelle édition, Paris 1967, 100.
- <sup>50</sup> Тягунову зовут 'Пелагея Ниловна', как героиню "Матери" Горького. Пастернак распространяет полемику с фурьеризмом на его продолжение в горьковском романе о восстании женщины против социальных уродств. Все ценностные связи, установленные Горьким, меняются у Пастернака на противоположные: мать, становящаяся революционеркой из любви к сыну и за это подвергающаяся политиче-

скому преследованию, превращается в "Докторе Живаго" в бегущую от революции (Тягунова - от 'тягать'?), совершающую уголовное преступление женщину, которой увлечен ее спутник-подросток.

- <sup>51</sup> О гастрономическом коде у Фурье см. подробно: Roland Barthes, *Sade. Fourier. Loyola*, Paris 1971, 87 ff.
- <sup>52</sup> Кроме Фурье, здесь очевидна еще одна отсылочная инстанция - романы Достоевского ("Идиот", "Бесы"), где социализм (сингестетически) эмблематизируется как 'стук телег, подвозящих хлеб голодному человечеству'. Об источнике этого мотива у самого Достоевского (переписка Герцена с Печеринным) см.: Ф.М. Достоевский, *Полн. собр. соч. в 30-ти тт.*, т. 9, Ленинград 1974, 393.
- <sup>53</sup> О восприятии Пастернаком монадологии см. подробно: Sergej Dorzweiler, *Boris Pasternak und Gottfried Wilhelm Leibniz* (ms).
- <sup>54</sup> См.: Е. Спекторский, *Проблема социальной физики в XVII столетии*, т. 1, Варшава 1910.
- <sup>55</sup> Борис Пастернак, *Собр. соч. в пяти томах*, т. 2, Москва 1989, 620.
- <sup>56</sup> Об антиутопизме Лейбница см., например: Hans-Joachim Mähl, *Die Republik des Diogenes. Utopische Fiktion und Fiktionsironie am Beispiel Wielands*.- In: *Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie*, Bd. 3, hrsg. von W. Voßkamp, Baden-Baden 1985, 57 ff..
- <sup>57</sup> Как Лейбниц, так и Пастернак понимают утопизм в качестве борьбы с бытием. В том же смысле концептуализовал утопию и такой современник Пастернака, как К. Маннхайм: Karl Mannheim, *Ideologie und Utopie* (1928-29), Frankfurt a. M. 1952, 169 ff.
- <sup>58</sup> Мы оставляем в стороне очень сложный вопрос о том, принимал ли в расчет Пастернак и кантовское оправдание бытия Божия ("Versuch einiger Betrachtungen über den Optimismus...", "Der einzige mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes"), сложившееся в ходе полемики с "Теодицей" Лейбница.
- <sup>59</sup> Wolfgang Iser, *Die Appellsstruktur der Texte*.- In: *Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis*, hrsg. von R. Warming, München 1975, 228 ff.
- <sup>60</sup> Umberto Eco, *The Role of the Reader. Explorations in the Semantics of Texts*, Bloomington and London 1979, passim.
- <sup>61</sup> Владимир Набоков, *Другие берега*, Москва 1989, 140.

<sup>62</sup> Об этой фундаментальной для формализма категории см.: Aage A. Hansen-Löve, *Der russische Formalismus. Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung*, Wien 1978, passim.